

ГЛОБАЛИСТИКА И ФУТУРОЛОГИЯ

*А.Л. АНДРЕЕВ***Специализация цивилизаций
и аттракторы мирового развития**

В статье анализируется историческая эволюция субъектов глобального развития – различных цивилизаций. Выделяются типы таких субъектов, обосновывается идея функциональной специализации цивилизаций. Особое внимание уделено западному цивилизационному типу, в настоящее время выступающему в качестве уникальной техногенной цивилизации. По мнению автора, с определенного исторического момента произошло разделение функций обеспечения научного и технического прогресса и воспроизводства человеческих ресурсов с закреплением последней за незападными цивилизациями. Перспектива трансформации современных западных обществ в результате воздействия интенсивно развивающейся технотехники ведет к дальнейшему углублению функциональных различий между цивилизациями и формированию в ходе этого процесса новых неклассических мировых проектов.

Ключевые слова: геополитические субъекты, цивилизация, технический прогресс, технотехника, глобальная система, человеческие ресурсы, факторы силы.

The author suggests his own understanding of the problem of global development based on the analysis of historical evolution of the subjects of global development represented primarily by different civilizations. There were distinguished several types of such subjects and on that basis the idea of functional specialization of civilizations is established. A special attention is paid to Western civilizational type which now is transformed to a unique technotronic civilization. That transformation in a very short time gave it significant and undisputable advantages. But, according to the article, from a certain historical moment the function of supporting scientific and technical progress and that of demographic reproduction of humanity diverged. That latter fell to the lot of non-Western civilizations, and from that point the West began to lose its absolute dominance in the world, including its superiority in the terms of force.

Keywords: geopolitical subjects, civilization, technical progress, technoscience, global system, human resources, factors of power.

До Первой мировой войны мир был структурирован вполне в духе Н. Макиавелли: его можно было рассматривать как совокупность конкурирующих за территориальные ресурсы “молекулярных” политических образований – государств (каждое из которых, в свою очередь, выступало как бы внешней оболочкой пронизанного внутренними противоречиями стратифицированного социума). Разумеется, эта “молекулярная сетка” никуда не исчезла и после 1918 г. Однако то, что происходило в мире в проме-

жутке между двумя мировыми войнами, уже не вписывалось полностью в логику так называемых национальных интересов. Поведение государств как субъектов мирового процесса во все большей степени начинает определяться различными программами социальной реконструкции, адресованными не только их собственным гражданам. Соответственно, и солидарность с этими программами устанавливалась поверх национальных границ. Это обстоятельство приходилось учитывать в государственной политике, зато государства, усвоившие такой тип поведения, приобретали дополнительные политические ресурсы по всему миру в виде различных ориентированных на те же идеалы и ценности движений, партий, политических объединений, а также находящихся в их сфере влияния формально неполитических организаций, “пятых колонн”, агентур влияния и т.д. Формировались новые глобальные субъекты, имеющие характерную структуру кометы, – “твердое ядро” в виде нескольких объединенных общими ценностями государств и “разреженный шлейф” в виде различных ассоциированных с ними групп поддержки. В результате этого после Первой мировой войны всемирно-исторический процесс отливается в формы противоборства *мировых проектов*.

Первоначально их было три: либеральный капитализм (обычно презентовавший себя как либеральная демократия, или “свободный мир”), мировой коммунизм и “новый мировой порядок” национал-социалистского и фашистского толка. Но, как известно, фашизм потерпел сокрушительное поражение еще в 1945 г., а к концу 80-х гг. XX в. рухнула и перспектива коммунистического будущего для всего человечества. Это вызвало к жизни известный прогноз Ф. Фукуямы о повсеместном распространении либеральной демократии, которое в конечном счете ведет к завершению истории, когда противоборство уступит место партнерским отношениям, построенным на началах равенства прав и взаимовыгодного экономического взаимодействия.

Однако, вопреки предположениям американского политолога, “постисторический мир” Запада вовсе не отстранился от “исторического мира”, где все решается с позиции силы. Более реалистическими в этом плане выглядят предложенная С. Хантингтоном концепция конфликта цивилизаций или, допустим, разработанная А. Неклессой гексагональная модель, в которой в качестве основных компонентов мироустройства выступают типологически различные экономические зоны, которые также можно соотнести с определенными цивилизациями: это “штабная экономика” постиндустриального Севера, “трофейная экономика” глубокого Юга и т.д. Впрочем, обе названные теории скорее структурные, чем векторные; как и концепция Фукуямы, они описывают статическое “устройство мира”, а не его динамику, и не располагают достаточными концептуальными ресурсами для того, чтобы ответить на вопрос, может ли устроенный таким образом глобализирующийся мир принять какие-то существенно новые формы, а если может, то каким способом.

Вернемся к последней по времени критической точке истории – концу 80-х гг. XX в. Как выглядит ситуация после распада Советского Союза и самоупразднения так называемой мировой системы социализма? Все мировые проекты, кроме либерального, вроде бы, сошли с исторической сцены, однако мир пока раздроблен и какое-то время еще будет разграничен линиями культурных разломов, разделяющими цивилизации. Тут-то и возникает соблазн построить на этом периодизацию всей новейшей истории: закончилась эра конкуренции мировых проектов и началась эра столкновения цивилизаций. Такую попытку мы находим, в частности, у Хантингтона [Хантингтон, 1994] – с той только разницей, что он говорит не о мировых проектах (что, на мой взгляд, правильнее), а об идеологиях (что очень неточно, поскольку идеологии и идеологические распри существовали испокон веков и продолжают существовать в наши дни).

Однако на самом деле эта схема схватывает лишь видимость явлений. Стоит взглянуть пристальнее и можно заметить, что за перипетиями конфликта цивилизаций проглядываются мегатренды, объективный смысл которых реализуется в виде неких “мировых проектов”. В отличие от прошлого эти мегатренды уже не обязательно однозначно связаны с каким-либо одним конкретным идеологическим целеполаганием.

Скорее, это некие функциональные векторы, которые могут реализовываться через разные, иногда даже противостоящие друг другу идеологии. В этом случае их можно представить в виде *аттракторов* некоторых достаточно долговременных процессов.

Фукуяма в свое время высказал мысль о том, что после 1991 г. место коммунизма в современном мире занял политический ислам. И это в известной мере верно. По крайней мере, в настоящее время именно исламисты пытаются опереться на “мировой пролетариат” глубокого Юга и демонстрируют наиболее радикальное неприятие Запада. Очевидно, что исламский фундаментализм – единственная ныне политическая сила, выдвигающая альтернативный либеральному капитализму мировой проект. Конфликт ментальностей и цивилизаций? Не спорю. Тем не менее констатировать наличие такого конфликта недостаточно.

Как отмечал в свое время К. Маркс, у человеческой истории есть две предпосылки: физическое существование (и следовательно, физическое воспроизводство) индивидов и производство материальных условий их жизни [Маркс, Энгельс, 1955, с. 19]. Почти на всем протяжении человеческой истории, начиная с глубокой древности, и то, и другое в равной мере обеспечивалось самостоятельно каждым этносом. Однако на определенном этапе социально-исторического развития, а именно в преддверии Нового времени, начинают исподволь складываться тенденции, ведущие к постепенному разделению этих функций. Все началось с того, что во второй половине XVI в. в Европе стало формироваться и распространяться принципиально новое мировоззрение, вносящее напряженную конфликтность в отношения человека и природы. Она отныне должна была стать объектом контроля, предполагающего применение инструментального насилия. Главным источником силы, а стало быть, и способности к осуществлению насилия становилось знание (знание – сила, по Ф. Бэкону).

Достаточно ознакомиться с текстом бэконовской “Новой Атлантиды”, чтобы понять программный характер этих идей и установок. На их основе на Западе началось формирование принципиально новой цивилизации. Я не хотел бы использовать для ее характеристики общепринятый термин “современная” (цивилизация модерна, или модерни) в силу неявно содержащейся в нем оценки. Более точным и оценочно нейтральным было бы определить ее как техногенную цивилизацию, если только при этом учитывать, что понятие “техно” относится и к способам осуществления социальных практик.

То, что развитие общества пошло по этому пути именно в Европе, – одна из тех трудноразрешимых загадок, которые время от времени нам преподносит история. До XIV–XV вв. и в сфере научного познания, и в технических изобретениях лидировали мусульманский Восток, Индия и Китай, они же были и наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы удерживать эти позиции в дальнейшем. Но, начиная с эпохи Возрождения, роль производителей знаний и технологий переходит к Италии, за которой последовали Голландия, Франция и Англия и некоторые другие европейские страны. Именно здесь к началу Нового времени формируется главный центр развития, быстро приобретающий глобальное значение. В то же время в результате сложных внутренних процессов и во многом еще непонятных для нас социокультурных мутаций, самостоятельные источники научного и технического прогресса вне ареала “христианского мира” как бы “пересыхают”. В результате этой глобальной рокировки возник своеобразный феномен *специализации цивилизаций*, в рамках которой за Западом закрепились функции локомотива научно-технического прогресса.

Интенсивное развитие науки и техники очень быстро дало Европе множество преимуществ над остальным миром. Прежде всего, разумеется, силовым перевес, конвертированный в глобальное господство и эксплуатацию “отсталых народов”. Но это, несомненно, только одна сторона вопроса. Другая – стремительный рост производительности труда, создание небывало комфортной среды обитания, эффективное здравоохранение, распространение просвещения, возвышение интеллекта и творческих способностей, а также, не в последнюю очередь, и то, что Г. Гегель в свое время определил как прогресс в сознании свободы. Сочетание этих аспектов создавало впечатле-

ние, что преимущества европейской цивилизации (в широком смысле слова – включая страны европейской культуры на других континентах) безусловны и абсолютны, а тот путь, по которому она пошла, – универсальная, “правильная” модель развития, которую *в принципе* должны принять все страны.

Такой подход просматривается едва ли не во всех возникших на Западе классических теориях исторического процесса, хотя в некоторых случаях – в неявной или непоследовательной форме. Лишь в самое последнее время его безоговорочная гегемония была в какой-то мере поколеблена возникновением так называемого постколониального дискурса. Исследования, выдержанные в этом стиле, сразу же попали в русло интеллектуальной моды. Правда, постколониальные исследования – это не столько аналитика мировых трендов, сколько способ самовыражения определенной группы интеллектуалов – выходцев из “третьего мира” и одновременно средство конвертирования подобного происхождения в некий академический капитал. Тем не менее возникновение “концептуальной оппозиции” Западу – причем на его же собственном интеллектуальном поле – событие само по себе знаменательное, симптом формирующегося социального запроса, который, в свою очередь, не может быть чем-либо иным, кроме как интуитивной реакцией на перемены, происходящие в самой объективной действительности.

Функциональная специализация Запада как техногенной цивилизации, долгое время считавшаяся безусловным преимуществом, все более очевидно становилась проблемной. То, что, казалось, было построено на основе разума, вдруг обернулось своими скрытыми иррациональными качествами. Присущее этой цивилизации специфическое отношение к природе не только как к неограниченному даровому ресурсу, но и как к “противнику”, территория которого подлежит завоеванию (“покорение природы”), оказалось своего рода ловушкой с отложенным действием. Еще в середине XX столетия вред, который разрастающаяся техносреда наносила естественным природным ландшафтам и атмосфере, имел достаточно ограниченные масштабы. Однако в дальнейшем началось экспоненциальное ухудшение ситуации, всего за несколько десятилетий поставившее человечество на грань экологической катастрофы. Кроме того, техногенная цивилизация оказалась чрезвычайно прожорливой в плане потребления невозполнимых природных ресурсов; в последние десятилетия они уничтожались “развитыми экономиками” с ужасающей быстротой, создавая реальную угрозу оставить будущие поколения без средств к существованию.

Но может быть, еще более проблематизирует техногенную цивилизацию Запада то, что культивируемые там ценности и психологические установки, обеспечивавшие беспрецедентно интенсивное самовозрастание стоимостного богатства, на определенном этапе своего развития стали вступать в противоречие с тем, что положено человеку по его природе и образует, если можно так выразиться, естественную матрицу человеческой формы бытия. В первую очередь это относится к первостепенной по своей значимости функции физического воспроизводства населения. Не только в XVII и XVIII, но даже в XIX в. ведущие государства и народы, составляющие ядро техногенной цивилизации, не очень отличались в этом отношении от Турции, Ирана, Китая и других стран неевропейской культуры. Рождаемость оставалась достаточно высокой, семья строилась на религиозном фундаменте, что обеспечивало прочность не только самого института брака, но и родственных связей, а предметная среда и социальные отношения были построены таким образом, что воспитание детей и обеспечение их безопасности не требовало слишком больших усилий. Ситуация стала кардинально меняться в 1930-е гг., но особенно – в последней трети XX столетия. На рубеже 1950-х–1960-х гг. практически все страны, составляющие “индустриально развитый Север” глобального мира, вступили в полосу материального процветания, стабильности, устойчивого повышения уровня социальных гарантий. Большинство семей здесь, казалось бы, могли спокойно обзаводиться детьми, как это, собственно говоря, всегда случалось в истории с наступлением спокойных и сытых времен. На деле же, как известно, произошло прямо противоположное, и рождаемость, после некоторого

всплеска, компенсировавшего отложенные браки и рождения военного времени, практически по всей этой экономико-географической зоне стала стремительно снижаться. В настоящее время она в лучшем случае еле-еле обеспечивает естественное воспроизводство населения, а чаще всего не дотягивает и до этого критического уровня.

В результате прогрессирующей тенденции депопуляции возникла принципиально новая ситуация, когда страны, составляющие авангардный эшелон техногенного развития, перестали справляться с задачей обеспечения самих себя человеческими ресурсами. Теперь эти ресурсы во всевозрастающих масштабах приходилось импортировать. Сначала они направлялись исключительно в сферу малоквалифицированного труда, однако к концу столетия за счет миграции покрывалась уже значительная часть потребностей развитых стран в работниках средней и даже высокой квалификации, не исключая и некоторых интеллектуальных профессий.

Таким образом, можно констатировать, что функции производства техносреды и человеческих ресурсов разделились и превратились в предмет *различных* “специализаций”. Теперь, учитывая разительный градиент рождаемости между глобальным Югом и технологически продвинутым, но демографически оскудевающим Севером, можно по-новому взглянуть и на объективный смысл мирового исламского проекта – в частности, увидев в нем попытку экспансии демографически продуктивных форм социальной жизни. Другой вопрос, что смысл этот реализуется не как непосредственная рационально мотивированная цель, а как косвенный результат предписанных религией общественных отношений и норм жизни. Поэтому не исключено, что та же функция может иметь и иное социокультурное и идеологическое оформление.

Возможно, здесь дело вообще не в ценностях различных цивилизаций, а просто в уровне цивилизованности как таковом и, соответственно, в материальной обеспеченности и качестве жизни? В самом деле, существует очевидная обратная корреляция между уровнем доходов и образования, разнообразием и богатством образа жизни, степенью личной независимости индивидов, включая женщин, с одной стороны, и рождаемостью – с другой. На этом основывается так называемая теория демографического перехода – естественного и необходимого следствия модернизации. В ходе неизбежной трансформации так называемого традиционного общества через него рано или поздно пройдут все страны, и ситуация с воспроизводством новых поколений в конечном счете выровняется.

В этой теории, несомненно, есть определенная доля истины. Действительно, в последние десятилетия рождаемость снизилась не только в экономически развитых и богатых странах, но и во многих добившихся экономических успехов развивающихся странах, где она еще совсем недавно была очень высока. И все же для задач социально-исторического прогнозирования такие выкладки нередко оказываются слишком абстрактными, поскольку опираются на достаточно усредненную статистику. Общие коэффициенты рождаемости падают неравномерно, что и делает одни страны экспортерами, а другие – импортерами человеческих ресурсов. А в том зазоре, который создается неравномерностью, как раз и заключены характерологические особенности различных цивилизаций, равно как и ресурсы, выступающие в качестве факторов конкурентоспособности.

Различия такого рода становятся намного отчетливее, когда мы переходим от общей статистики к дифференцированному социологическому анализу и *case-studies* и, в особенности, при анализе ситуации в тех странах, где в сравнительно однородной или сопоставимой по своим параметрам среде существуют общины, принадлежащие к различным цивилизационным типам. Так, в Ливане рождаемость в среде мусульманского населения интенсивнее, чем у христиан. Можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны, проведя сравнение между людьми с одинаково высоким (и одинаково “современным”) социально-профессиональным статусом в крупных городах, расположенных в ареале различных по своей ценностной палитре цивилизаций. Если, допустим, врач или инженер в Берлине, Амстердаме, Хельсинки или Вене имеют обычно одного–двух детей, то их коллеги в Багдаде, Аммане или Карачи, как минимум, на

одного или двух больше. Причем, как показывает опыт, средний класс развивающихся стран поставляет очень способных, целеустремленных и вдумчивых студентов. Поэтому, когда мы говорим о том, что развитые страны Запада в настоящее время во всевозрастающем масштабе подпитываются человеческими ресурсами извне, то речь идет уже не только о “рабочих руках”, но в значительной мере и об интеллекте.

Последствия отделения функции производства человеческих ресурсов от функции развития техносферы во многом парадоксальны. Начиная приблизительно с XVI в. безусловной мировой доминантой была опирающаяся на силовое превосходство тотальная экспансия капиталистической мир-системы, в цивилизационном отношении отождествляемой с Западом. Главной составляющей этого превосходства, конечно же, было техническое оснащение. Однако недостатка в человеческих ресурсах Запад в то время тоже не испытывал. И в Испании, и в Англии, и во Франции было немало молодых отпрысков небогатых дворянских семей, которые не могли рассчитывать на хорошую карьеру на родине и готовы были рискнуть жизнью для приобретения желанных богатств и должностей в заморских экспедициях и колониальных администрациях. Запад и сегодня остается субъектом экспансионистских устремлений, реализуемых преимущественно в формах военно-политического контроля и финансовых зависимостей. Однако сегодня вектор этих устремлений уравнивается противоположно направленным вектором демографической экспансии из стран, располагающих избыточными человеческими ресурсами.

Вероятно, далеко не все согласится с определением этого миграционного потока как экспансии. Ведь турок, арабов, филиппинцев, мексиканцев, выходцев из стран южнее Сахары изначально приглашали “просто работать”, причем на совершенно определенных условиях, которые были продиктованы принимающей стороной. При этом политические элиты Запада рассчитывали на формирование в будущем так называемого мультикультурного общества, где разнообразие культурных традиций будет сцементировано единым для всех либеральным мировоззрением и унифицированным образом жизни в современном урбанизированном обществе. Это, однако, оказалось иллюзией, в каком-то смысле даже самообманом. Обосновываясь в комфортных условиях благополучных западных государств, выходцы из “третьего” и “четвертого” миров редко проявляли стремление до конца интегрироваться в соответствующие общества. Иногда они приобретали некую “параллельную идентичность” (как, например, известный лингвист Э. Саид, который был не только профессором Колумбийского университета и членом Американской академии наук, но и палестинским активистом), в большинстве же своем практически полностью сохраняли прежнюю идентичность (а вместе с ней в значительной мере также менталитет). В результате в странах, принимающих массовые потоки гастарбайтеров, образовывались анклавные сообщества, живущие по собственным законам и традициям: социумы в социуме. На рубеже 1980–1990-х гг. я видел такие сообщества в Марселе – целые кварталы, заселенные выходцами из бывших колоний.

Первоначально могло казаться, что возникающие в этой связи трения и сложности – лишь вопрос времени. Но в отличие, скажем, от русских эмигрантов во Франции или немецких в Америке те анклавные сообщества, о которых мы сейчас говорим, характеризуются тенденцией воспроизводить свой социокультурный тип и во втором, и в последующих поколениях. При этом наблюдаются очень интересные, нуждающиеся в серьезном осмыслении, эффекты реактивации социальных форм, которые, с точки зрения западного модерна, кажутся безнадежно архаическими. Например, сохранение сильных кланово-племенных и земляческих связей в данном случае оказывается не столько тормозом самореализации, сколько источником преимуществ. Пронизанные такими связями сообщества не атомизированы, и поэтому уровень групповой сплоченности в них заметно выше, чем в окружающей социальной среде. Это делает их эффективными политическими субъектами, способными к быстрой мобилизации своих членов, причем не только электоральной.

Если западные политики и интеллектуалы убеждены, что созданное здесь либеральное мультикультурное общество обладает безусловной и абсолютной привлекательностью (иную позицию они часто совершенно искренно не понимают), то для мигрантов, не читавших труды по мультикультурализму и этноконструктивизму, это зона чужой культуры, воспринимаемая просто как “территория освоения”. Как справедливо заметила С. Бенхабиб, в порах западных обществ происходит латентная институционализация инокультурных групп, выдвигающих претензии на то, что их культурное своеобразие должно быть источником особых прав [Бенхабиб, 2003]. Так возникают предпосылки того, что она назвала глобализацией наоборот. Однако представляется, что в выборе этого термина невольно отдается дань пресловутой политкорректности. На самом же деле уместнее было бы прямо говорить в этой связи о своего рода *обратной колонизации*.

Пока сообщества мигрантов оставались малочисленными, а их члены плохо ориентировались в новой для них обстановке, об этом, разумеется, никто не думал. Однако и социальная, и демографическая ситуации исподволь постепенно менялись, и в наиболее активных общинах стало все громче заявлять о себе стремление перейти от тактики адаптации к требованию изменить окружающее их общество-среду в соответствии с их собственными представлениями о должном. После 2000 г. это стремление заявило о себе первыми открытыми выступлениями, начиная от дискуссий по поводу ношения хиджаба и кончая массовыми беспорядками в ряде западноевропейских стран. И только тогда европейские лидеры обнаружили в рассматриваемых тенденциях прямую угрозу западному образу жизни. Тем не менее удовлетворительное решение не было найдено. В 2009 г. очень симптоматичное заявление по этому поводу сделал тогдашний министр внутренних дел Франции Б. Ортефе, говоря о французах арабского происхождения: когда он один, все в порядке, проблемы начинаются тогда, когда их становится слишком много.

Новая политическая демография существенно меняет содержание таких понятий, как “соотношение сил”, “политический контроль”, “победа”, “политический успех”. Да, Запад по-прежнему обладает огромными техническими и экономическими возможностями, в том числе позволяющими сравнительно быстро подавлять неугодные ему режимы. В этом плане ухудшающееся для него соотношение человеческих ресурсов само по себе пока мало что меняет. Но быстро одерживая “победы” над заведомо хуже оснащенным институциональным противником, Запад затем оказывался лицом к лицу непосредственно с населением – с социумами, обладающими значительными возможностями для оказания длительного вязкого сопротивления, в том числе в форме вялотекущих боевых действий малой интенсивности. Результатом обычно становятся скорый уход “победоносных демократий” из зоны конфликта и передача ответственности сформированным под их патронажем новым режимам, искренняя лояльность которых к патрону довольно сомнительна.

Этот опыт приводит к мысли о том, что, несмотря на все материально-вещное и интеллектуальное могущество, технически передовой Запад начинает проигрывать соревнование с другими цивилизациями, не столь оснащенными инструментально, но зато сохранившими некоторые утрачиваемые в ходе прогрессирующей специализации специфические ресурсы, среди которых первостепенное значение имеет не только физическое воспроизводство населения как таковое, но и “пассионарность” этого населения, его сверхмотивированность, способная в критических обстоятельствах доходить до самопожертвования, о котором на Западе давно уже и думать забыли.

Не приходится сомневаться, что под воздействием факторов модернизации демографический переход в конце концов осуществится во всех развивающихся странах, не исключая и такие государства с высокой рождаемостью, как Афганистан или Нигер. Но означает ли это, что, по мере того, как Восток и Юг будут “подтягиваться” к задаваемым Западом жизненным стандартам, демографические потенциалы разных частей глобального мира понемногу сравниваются? Здесь, на мой взгляд, следует принять во внимание культурный “генотип” и обусловленную им логику развития различных

цивилизаций. Модернизация и демографический переход универсальны, но они действуют не в “чистом” виде, а в комплексе с другими факторами, которые тоже вносят свой вклад в итоговую картину. Можно прогнозировать дальнейшее снижение рождаемости и параллельное повышение качества жизни в наиболее “продвинутых” западных странах, таких, например, как Турция. Но на определенном этапе эта тенденция “упрется” в цивилизационные ограничители. Не так уж трудно, например, представить себе снижение рождаемости в арабских и тюркских мусульманских семьях с четырех–пяти до двух детей (что на самом деле местами уже происходит). Но чтобы это привело к сознательному отказу от продолжения рода?! На пронизанном же гедонизмом и индивидуализмом постхристианском Западе таких ограничителей, похоже, нет. Об этом свидетельствует хотя бы возникшее в США и ныне ширящееся распространение движения за добровольную бездетность (*childfree*), приверженцы которого считают отказ от рождения детей особой привилегией развитых обществ [Антонова, 2013]. То же можно сказать и о серьезной трансформации на Западе института брака.

Не просматриваются ли во всем этом симптомы отторгивания самого витального из естественных инстинктов – инстинкта самосохранения? Или даже запуск программы самоуничтожения? Возможно, в такой постановке вопроса есть некий реальный смысл. Однако он нуждается в конкретизации, прежде всего на основе анализа внутренней логики развития функционально специализированных цивилизаций. В частности, важное значение в этом плане имеет складывающийся на протяжении последних десятилетий новый формат отношений между наукой, технологиями, бизнесом и социальными практиками, который в зарубежной литературе обсуждается под условным названием “технонаука”. В отличие от классических форм науки и техники, технонаука не просто усиливает воздействие человека на окружающий предметный мир, но и знаменует собой переход от контроля за этим миром к преобразованию нашей собственной внутренней природы. Решающую роль в этом преобразовании, с одной стороны, играет быстрый прогресс биомедицины, активно разрабатывающей ныне особые технологии конструирования тел [Clarke... 2003, p. 164], а с другой – создание компьютерными средствами различных виртуальных реальностей, в том числе виртуальных интерактивных сред, способных вытеснять или, лучше сказать, “вытягивать” сознание индивида из реальной действительности.

Итак, если на предшествующих этапах исторического развития системы “человек–техника–природа” первый элемент триады мог условно рассматриваться как независимая переменная, то теперь он становится функцией от состояния техносферы (техносреды). И это важное обстоятельство, которое в перспективе будет становиться все более значимым. Фактически речь может идти о том, что в ходе своего развития техногенная цивилизация пересекла черту, за которой происходит инверсия отношений между человеком и техникой, а сам он из ее “хозяина” превращается в элемент техносистемы, параметры которого должны ей соответствовать примерно так же, как параметры карбюратора должны соответствовать общей конструкции двигателя. Собственно, нечто подобное, по сути дела, происходит уже сегодня: так, качества человека как потребителя товаров, услуг и информации при помощи изощренной технологии рекламы достаточно эффективно программируются под возможности и потребности экономической мегамашины. В этой ситуации можно предвидеть резкое усиление манипулирования людьми, которые именно теперь действительно становятся “винтиками” некой отчужденной от них системы (сама концепция “винтиков”, как известно, была провозглашена еще в 1930-е гг., но действительно осуществимой она становится только сейчас).

Таким образом, развитие техногенной цивилизации в ее сегодняшних вариантах имеет своим логическим пределом изживание того, что можно назвать человеческим “по природе”. Это своеобразный технологически обоснованный тоталитаризм, в рамках которого человек как имеющий природное происхождение субъект, вообще говоря, не нужен; не нужны, а для реализуемого ныне тренда и обременительны пока еще существующие рецидивы многих его традиционно ценимых качеств. То же самое

можно сказать и о естественных формах взаимоотношений мужчины и женщины и их чувстве долга по отношению к ребенку. Естественные отношения в этом контексте едва ли не осуждаются; против них направлены рекламные акции и даже целые кампании, призывающие создавать условия для их постепенного вытеснения искусственными отношениями-конструкциями. Рождение детей уже при нынешних возможностях медицины можно охарактеризовать как технологическую операцию. И если сегодня для нее еще нужна женщина-донор, то понадобится ли она завтра? Остается лишь вопрос о том, кто будет контролировать производство новых особей как по количеству, так и по качеству.

В этой связи в контексте обсуждения возможностей технауки на Западе прорабатываются концептуальные основы нового мирового проекта – идея *постчеловеческой цивилизации* (или цивилизации постчеловеческих существ) [Better... 2006]. Если принять эту идею как гипотетическую, как заготовку на будущее, то исторический тренд Запада на перспективу можно представить как трансформацию техногенной цивилизации в новую, которую уже нельзя будет охарактеризовать как собственно человеческую. И тогда политика будущего предстанет перед нами производной от конкуренции (а по Хантингтону – столкновения) такой постчеловеческой цивилизации с цивилизациями *все еще* человеческими.

В этом контексте рано или поздно должны будут трансформироваться понятие человеческой идентичности и вся матрица смыслов, на которых до сих пор строился наш социально-философский, социально-исторический и политический дискурс. Это касается, в частности, входящих в него концептов “развитие”, “прогресс”, “традиция”, “модернизация”, “отчуждение”, “общественное благо”, “права человека”, “историческая миссия” и др. Соответственно, и конкуренция основных геополитических субъектов предстанет перед нами не просто как рутинная борьба за интересы и зоны влияния, но и как элемент предстоящего экзистенциального выбора, намного более фундаментального, чем выбор между авторитаризмом и тем, что именует себя “демократией” (часто представляя собой, на деле, лишь более изощренную и технологически совершенную систему контроля над мыслями и поведением).

В этом ключе надо рассматривать и происходившую на протяжении последних полутора-двух десятилетий эволюцию политического вектора России. Поскольку нынешней российской элите все еще не хватает интеллектуальной самостоятельности и культурно-политического кругозора, позиция эта так до конца и не выражена в форме, способной представить миру новый четко артикулированный бренд России. Соответственно, несмотря на очень точные, иногда даже филигранно точные, ходы и действия верховной власти, в информационных войнах современности мы больше проигрываем, чем выигрываем. И все же, резюмируя, можно сделать вывод, что в России складывается специфическая концепция “традиционалистской модернизации” с попыткой найти средний путь между эффективным научно-техническим прогрессом и сохранением ориентированных на воспроизводство человеческого ресурса традиционно ассоциирующихся с “природой человека” (и в этом смысле – “естественных”) форм социальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антонова Ю.А. Коммуникативные стратегии в текстах, репрезентирующих идеологию *childfree*: на грани экстремизма // Политическая лингвистика. 2013. № 2.
- Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М., 2003.
- Марке К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М., 1955.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. № 1.
- Better Human? The Politics of Human Enhancement and Life Extension. London, 2006.
- Clarke A.E., Mamo L., Fishman J.R., Shim S.K., Fosket J.R. Biomedicalization: Technoscientific Transformation of Health, Illness and U.S. Biomedicine // American Sociological Review. 2003. Vol. 68. № 2.